

А. И.
ЛЕВИТОВ

Сочинения



Александр Иванович Левитов

Расправа

«Солнце совсем уже село. Вечер набросил на село свои мягкие тени. Из садов, из ближнего леса, с реки и полей пахло чем-то наводящим тишину на душу и дремоту на тело.

Вот по туго прибитой дороге бойко застучали колеса порожних телег, отправлявшихся в ночное; им навстречу скрипят тяжело нагруженные сжатым хлебом воза; пыльные столбы, затемнившие яркое зарево вечернего заката, постепенно приближаясь к селу, дают знать, что пастухи гонят стадо...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0011
III.....	.0023

Александр Иванович Левитов

Расправа[1]

Солнце совсем уже село. Вечер набросил на село свои мягкие тени. Из садов, из ближнего леса, с реки и полей пахло чем-то наводящим тишину на душу и дремоту на тело.

Вот по туго прибитой дороге бойко застучали колеса порожних телег, отправлявшихся в ночное; им навстречу скрипят тяжело нагруженные сжатым хлебом воза; пыльные столбы, затемнившие яркое зарево вечернего заката, постепенно приближаясь к селу, дают знать, что пастухи гонят стадо. На живую руку сбитые ворота с громким скрипом отворяются навстречу стада, и вот многообразными голосами его наполнилось село от верху до самого, так сказать, до низу. Щелкание пастушеских кнутов, звонкие зазыванья баб, крики и побегушки детей за упрямыми баранами, наконец оглушающий свист лихача – помещичьего кучера, мешаясь с переливами серебряного дара Валдая[2] и с громким топотом ухарской тройки, всполошившей все стадо, делают из сельской улицы что-то такое, от чего какая-нибудь древняя старуха, случайно

выползшая из избы на божий свет, невольно схватывает себя обеими руками за голову и приседает, как бы от чьей тяжелой тукманки. Обопрется старуха о дверную притолоку и стоит – не шелохнется; и довольно долго нужно времени, чтобы дождаться, как старый человек, опомнившись наконец, всем своим кротким и морщинистым лицом окинет уличный содом и, медленно перекрестившись, шепотом вымолвит:

– Знать, уж господь светопреставление наслал на нас!

Слышнее всего раздается по селу громкий бабий бас Федотовой старухи. Высокая и осанистая, стоит она у настежь распахнутых ворот коренастой избы с зелеными ставнями, с высокими скворечнями, с крыльцом из точеных балясин, и своим синим набивным сарафаном, своим ситцевым головным платком, больше всех этих принадлежностей украшающих ее избу, говорит проезжему люду, что изба эта построена первым сельским богачом, миру на удивленье, себе и детям на доброе здоровье.

– Экое житье какое у Федотихи чудесное!

По будням уж стала ситцевые платки носить, – тихомолком толкуют соседские бабенки.

– Почто же ей, милая ты моя, в ситцевых платках не ходить?.. Сказывают: старик-то ее четвериком деньги-то меряет.

– Кы-ы-ыть! Кыть! Кыть! – зазывает голосистая старуха своих овец, и, послушные ее голосу, животные галопцем несутся в ворота хозяйкина дома.

– Раз, два, три, – пересчитывает их старуха. – Ох, чтоб вас совсем! Вишь, какие резвые: и перечесть не успеешь. Будет, бабы, тараторить-то вам! Ужинать идите! – зыкнула она на своих семерых снох, которые толковали у колодца с соседскими бабами.

– Погоди-кась маленечко, Федотьевна, ворота-то запирачь. Слухай-ка, я те скажу что-то, голубка! – издалека кричала Федотихе маленькая бабочка в сером изорванном зипуне.

– Что надоть? – нехотя спросила старуха, готовясь затворять тяжелые ворота.

– Ох, кормилица ты моя! Кричала, кричала я тебе: погоди, мол, ворота-то запирачь, а ты и не слышишь, желанная. Знамо, божья ста-

рушка не всякое слово расслышит. Пусти-кась ты меня на двор к себе. Ярочка моя к тебе с твоим табуном забежала. Я у ней, кормилица, ушки выстригла, – сразу узнаю. Пусти, пожалуйста, я взгляну только.

И бабочка хотела было пронырнуть мимо Федотихи на двор к ней.

– Что насилкой-то лезешь? Ай на свой двор пришла? – гневно закричала на нее сварливая старуха. – Одни только наши овцы пришли, – чужих ни одной нет. Сама видела, как пускала.

– Где тебе увидеть-то, божьей старушке? – возражала бабенка. – Ведь они резвые, овцы-то! И не увидишь, как прошнырит мимо тебя.

– Не слепей тебя! – рычала старуха. – Проваливай, проваливай от двора-то, покель це-ла.

– Что же ты, кормилица, затягать ее хочешь, что ли, ярочку-то? – спрашивала серая бабенка, разгораясь в свою очередь.

– Нужно мне у тебя, у нищей, последнюю ярку затягивать?.. Поклонись приди, свою на бедность пожертвую. Вот что!

– Да ишь должно нужно, коли на двор не пускаешь.

– А не пуцу – и только. Вот те и вся недолга!

Дальше да больше, слово да другое – и закипела брань. А там за каменья, – насилу мужики розняли. Серая бабочка была прогнана в три шеи сыновьями Федотихи.

– Из ума выжила, старая кочерга! – покрикивал на свою старуху Федот. – Не было за что людям осуждать, так она драться на улице выдумала. Старость твою стыдить не хочу, а плетюганом взбодрить бы надо тебя...

– Ра-а-збойники! – шумела серая бабочка с другого конца села. – Затянули ярку к себе, да еще и хозяйку прибили.

– Что это, в самом деле, Федотовы ребята расходились? – толковали старики, сидя на завалинах. – Словно это они, деньги имеючи, суда на себя знать не хотят. У вдовой последнюю ярку боем отбили! Точно, что следует завтра за такой ихний разбой в правление всю их семью притянуть.

Вместе с росой, обильно напоившей пожженные летним солнцем травы, пала на се-

ло тихая ночь. Вместо людской крикливой жизни по сельским улицам и огородам, по реке, лесу и окрестным полям разлилась могучая молчаливая жизнь ночи; какими-то живыми, приковывающими к себе глаза молниями засверкали на месячных лучах речные волны; из леса полетел чей-то шепот, как бы мощное дыхание какое; в дальнем поле чуть слышно курлыкали журавли. Ежели вы когда одни смотрели в глухую полночь на сельскую природу, – не заметили ль вы, как в это время обнимает человека что-то такое, от чего сладкий трепет вливается в сердце и дыбом поднимается волос?..

Утро. На крыльце волостного правления и расправы кипит огромный ярко вычищенный самовар. Дымные клубы, вылетающие из него, расстилаются по всей улице и далеко отогнали с крыши воробьев, ласточек и других мелких пташек: расселись они по соседним плетням и деревьям и так-то громко чирикают, словно бы ругают едкий дым, согнавший их с привычной насести, или бы хотят развеселить волостного писаря, который, «расклеимшись маленечко» со вчерашнего похмелья, пьет чай на вольном воздухе, ежеминутно поджидая кого-нибудь из обывателей, с кого бы можно было сдернуть по крайности на полуштоф.

– Погляжу, погляжу я на тебя, Василий, мало, братец ты мой, политики в тебе! – говорит писарь своему сторожу, который завтракает огромным ломтем черного хлеба, посыпанным крупной солью. – Натура у тебя самая что ни есть необузданная!

– Што так? – спрашивает Василий.

– Да так! Образованных обычаев ничуть

ты не знаешь. Не успел ты, музлан, со сна бельмы протереть, а краюху уписал как следует. Инда мне тошно смотреть на тебя.

– Эфто, Микита Иваныч, от того вам тошно, что вы вчера очень много вина эфтого красного пили. Кабы стали, то ись, по одной сивухе ходить, никакого бы, истинно, сумнительства не было.

– Пустяки ты это рассказываешь. Я таперица, кроме как красного, в рот ничего не возьму, потому ты рассуди: что благороднее – красное или простое?

– Точно что, Микита Иваныч, красное малость поблагороднее, зато сивуха – занятнее.

– По морде бы тебя хватить – еще бы занятнее было; да вот вставать лень.

– Ах, и чудачки же вы, Микита Иваныч, страсть какие надсмешники! Только хоть бы што, а Федот Иванов беспрерывно к вам в правление валит на Козлиху жалиться. Старуху его вчера вечером страсть как Козлиха-то избранила.

– А вот мы их рассудим, – сказал писарь – Здравствуй, дядя Федот, – отнесся он к богачу. – Подсаживайся-ка вот к самовару: погре-

емся.

– Это нам к руке, – согласился Федот. – Только будь милостив, Микита Иваныч, пошли-кась ты Василья-то за пол-осьмухой, потому как нам дело до тебя есть, так угостить, поди, тоже потребуется.

– Да уж это как есть. Безотменно потребуется. Были тут у меня вчера барышники из города, вволю красным употчевали; так оно теперь и тово... выпить-то, дружище, самое что ни есть любезное дело будет.

– Вот она, сладость-то! – шутил сторож, вынимая полуштоф и предчувствуя здоровенную выпивку.

– А знаешь ли ты, грамотный человек, – спрашивал у писаря Федот, наливая ему водки, – кто самому этому вину главная причина и отец?

– Ничего мы эфтова не знаем, – отвечал писарь, – кроме как ежели вот дерябнешь с похмелья стаканчика три-четыре, так оно словно повеселее на животе делается.

– А я тебе про эту причину расскажу. Шел черт по горе...

– погоди с разговорами-то: я вот еще при-

способлю, – перебил его писарь. – Заодно разоряться-то.

– На доброе здоровье... А под горой мужик землю пашет.

– Не так ты, Федот Иваныч, описывать начал, – вмешался сторож. – Оба они, примером, под горою бымши...

– Сидел бы, музланище, да слушал; перенимал бы, как поумней тебя люди разговаривать станут, – наставительно заметил сторожу писарь.

– А я к тому, Микита Иваныч, разговор подгоняю... – оправдывался Василий.

– А ты вот выпей лучше, – угощал его дядя Федот. – А поправлять меня вряд ли, надо полагать, придется тебе.

– Где нам!.. К слову пришлось, – благодарно согласился Василий, учтиво принимая стакан.

Проходившие мужики, чувствуя в воздухе полугарную струю, лакомо облизывались. Федот Иванов радушно приглашал всех, кто был побогаче и позначительней. Выпивка с каждой минутой принимала все более и более широкие размеры, и скоро правленское

крыльцо все, так сказать, зачерпнулось разными сельскими тузами. Сторож Василий бойкой иноходью раза два бегал в кабак, и уже не с полуштофом, а с пузатою четвертою бутылью.

– Запили наши мироеды, должно быть, на много рублей, – с завистью толковали не попавшие в пир мужики.

– Козлихе теперича, бедной, надо думать, дюже достанется, потому всех горлопятов-то Федот Иванов на правленское крыльцо пить созвал, – соболезнавали бабенки.

И действительно, с правленского крыльца по всему селу раздавалось пьяное гуденье, обрекавшее на гибель серую бабочку, разбравшуюся вчера с Федотовой старухой. Голос угостителя покрывал собою голоса всех.

– Известно, бабы люты на брань, – толковал он собранию, обнося всех водкой. – Потачки своей старухе я не дал, потому ярка Козлихина в самом деле ко мне на двор забежала. Только рази могла Козлиха сыновей моих ворями и разбойниками, а меня жидом и иудой ругать? Хорошо она это сделала или нет?

– Што тут хорошего... – согласно отвечали

прихлебатели.

– Приятности тут точно что малость, – под-держивал писарь, заряжаясь под шумок стака-канищем.

– Бездельница она выходит, Козлиха-то, вот что! – с тихой, но просящей улыбкой ввер-нул свое словцо сторож Василий.

– Што же ты, братец ты мой, по очереди ко мне не подходишь? – с удивлением спросил его дядя Федот.

– Да так, Федот Иваныч; не пристойно нам, малым людям, вравне с богатыми компанию держать, – вежливо отвечал Василий, выла-мывая стакан.

– Поруху она чести моей великую нанес-ла, – ораторствовал дядя Федот. – Опять же, в бедности такой находимшись, Козлиха бога-тому человеку должна уважение всякое воз-давать, а она вот куда затесалась – в брань! Ежели бы она с старухи моей за лютость ее не взыскала, я к ярке-то ее баранчика своего еще бы придал; а она, про богатство мое поза-бывши, сама, сказываю, при бедности при своей пустилась в брань.

– В брань? – раздавалось в толпе. – Ах ты

господи!

– Следствует ее теперича сюда привести и наказание мирским судом положить, – за то я вас и пою, – закончил дядя Федот.

– Как не наказать? – согласно запел хор. – Бабенка она вдовая, убогая; уму-разуму беспрерменно научить ее надоть.

– Мы это живо скомандуем! Мы ее, Козлиху безрогую, с одного маху сюда предоставим, – улыбался сторож, накидывая на плечи дырявый армячишко.

– Ббу-у-у! Трры-рр-ры! – заревела пьяная толпа на предоставленную с одного маху Козлиху.

– Ты какими делами занялась? – азартно спрашивал ее писарь.

– Почто ты людей почище себя обижаешь? – кричали из толпы.

А Козлиха стоит так-то, сама в землю потупилась, красная вся. И конфузно-то ей и досадно, потому зло взяло, что за ее же добро ее же и судят теперь на миру и ругают.

– Православные! – взмолиться она было со слезами попробовала, – вы ведь все хресты носите...

А сама перед крыльцом наземь упала, как бы в ноги всему сходу кланялась.

– Вот, сейчас умереть, пречудная бабенка какая! – с насмешливой улыбкой толковал Козлихе арестовавший ее сторож. – Нечего в ногах-то валяться, а лучше штраф приготовь поскорей, потому без штрафа тебе быть невозможно. Рази не видишь, глупая, какая тут махина вина выпита? Должна ли ты после того нас угостить, али нет? Сказывай?

– Васильюшка! Кормилец ты мой! Где же я теперича возьму этот самый штраф?

– Ах ты голова с мозгом! – возражал ей Василий. – Рази мир-то без угощения когда расходился? Ему, уж коли он собрался, вот как надобно выпить – вплоть!

– Веди-ка ты ее, Василий, без разговора в чулан, – скомандовал писарь. – Мы ее там ублаготворим. Перестанет она с богатыми людьми в ругательство вступать.

– Отец родной! Микита Иваныч! – завопила Козлиха. – За какую же провинность в сарай меня весть велишь?

– Разговаривай! – крикнул писарь.

Сторож как бы колебался тащить бабенку.

– Я так полагаю, Микит Иваныч, как мое рассуждение есть, может, она насчет штрафа осилит как-нибудь, – вмешался он.

– Вправду, может, она как-нибудь на четвертинку собьется. Выпить бы теперича, признаться, знатко бы, – вступились мужики.

– Штраф штрафом, – возразил заступникам дядя Федот, – а блох из нее выпужать беспрерменно следует, потому я вас для самого этого дела и вином поил.

– Ну ин в самом деле, ребята, прохворостить ее. Што же мы, вправду, задарма, што ли, вино-то пили? – единодушно согласились на крыльце.

Василий потащил Козлиху в пожарный сарай... а между тем услужливая сходка с шумом и гарканьем распивала третью четверть благодарного дяди Федота.

– Вот те и вся недолга! – радостно вскрикнул сторож, взбегая на крыльцо. – Пробрал я ее, как и быть надоть. До новых веников не забудет.

Козлиха съежилась в своем изорванном зипунишке, так что казалась гораздо меньше, чем на самом деле.

– Милая ты моя, – наставительно сказал ей толстый мужик, сходя с крыльца, – поклонись теперь миру да за штрафом как можно скорее сходи. Акромья того, делать тебе здесь нечего. Бежи-кась.

– За что же я буду платить штраф? И где я его возьму? – зарыдала Козлиха.

– Мир тебя на ум наставил, а ты его попоштовать не хочешь? Это, я тебе сказываю, большой ты грех на себя принимаешь, Козлиха, – резонировал толстяк, покачиваясь. – Ты то теперича возьми: чем ты господу богу угодить можешь? Постом и молитвой! Это я тебе истинную правду сказываю. Ты ее и понимай.

– Кормилец ты мой! Да я бы радостью рада, только всего-то на все и денег-то у меня дома два пятака да тринка. Как же вы – эдакая-то ли вас сила сидит на крыльце – пить на них будете?

– Об этом ты не сумлевайся. Об силе у нас другие разговоры будут. А теперича, как всем нам выпить очень потребно, так мы у тебя и избу пропьем, и кур пропьем, и ярку, потому спорить тебе одной со всем миром никак нельзя.

– Это точно! – запел хор на крыльце.

– Как же возможно тебе против всего мира идти, глупая ты эдакая? – суетливо спрашивал у Козлихи сторож Василий. – Думать-то об этом, и то нашему брату не приходится.

– Буде, ребята, по-пустому разговаривать с ней, – повел свою речь дядя Федот. – Много ли она со всей худобой-то своей стоит! Грош ей цена и с худобой-то! А вы вот как, я вам скажу, штраф стешите с нее: только бы согласие ваше вышло, а то упоштоваться во как можно! По горло!

На лицах присутствующих изобразилось самое почтительное внимание.

– Знаете вы, православные, убогая баба Козлиха, вдовая, ни роду, ни племени нет у нее. Так я теперича за избу ее даю пять рублей, за двор и за животину, какая у ней есть, тоже пять рублей. Пусть на миру знают, што не притеснитель я какой, не грабитель, а, примером, на убожество ее взираючи, приреть хочу. За ее самое, ежели, то ись, присудить вам захочется эдак, даю десять рублей за посмертную кабалу.

– Счастье к тебе невидимо подвалило, – за-

видовал Козлихе сторож. – Перекрести рожу-то: в богатом доме жить будешь.

– Это что же такое, Федот Иваныч, – загудели мужики. – Отчего не присудить? Присудить так можно, потому она баба вострая: работать будет исправно.

– Ну так, значит, бежи за ведром, Василий, – обратился Федот к сторожу.

– Это мы с одного маху.

– Отцы родные! – закричала Козлиха. – Ведь старуха-то Федота Иваныча поедом меня живую съест, коли вы так-то присудите.

– Счастья своего не понимаешь! – сказал ей толстый мужик.

– Истинно, господь-то велик и многомилостив к сирым, – закончил рыжий дьячок, тоже затесавшийся в мирскую ватагу.

Опять вечер, только уж поздний вечер. И стадо давно пригнало, и в ночное уехали. Тишь обняла сельскую улицу, млеющую от ласк прохладной росы ночной, задумчивую и печальную улицу, которую, как бы пугливую молодую невесту, жених-месяц обливает своими золотыми и серебряными блестками.

– Вот чудесно мы Козлиху просватали, – говорил соседу урезонивавший ее толстый мужик, возвращаясь с ним с великого пира.

– Просватать-то мы, сусед, точно что ее просватали, только же и миру суд у господа бога, сам знаешь, будет какой! Не будет там отлички-то богатым от бедных, пойми ты это. Ведь мы ее, Козлиху-то, за ее же добро с корнем вон вырвали.

– А рази она первая? – спрашивал толстяк. – Рази теперича мир без угощенья может прожить? Опять же она не бранись! Знает, что богатый мужик, а на задор лезла. Рази он ее одну за свою обиду искоренил? Ведь видела она, что мир с ним спорить не может.

– Знаем мы эти пословицы-то: с сильным

не борись, с богатым не тягайся; все же таки господа бога мы позабыли, правду в кабаке пропили...

– О господи! господи! – боязливо прошептал толстый мужик, перекрестившись. – Все-то дела вино сочиняет.

– Васька! – громко раздался из глубины правления голос пьяного писаря.

– Чего изволите, Микита Иваныч? – отзывается сторож.

– Поди к Кулаковым квасу мне у них сольдом возьми. Скажи, мол, писарь велел.

– Ходил я к ним от вас онамедни: через великую силу выпросить мог. Говорят: часто вы к нам посылаете.

– А ты им скажи: «В бараний рог, мол, вас писарь согнет за такую обиду. Рази, мол, не видели, как ныне дядя Федот с Козлихой расправился». Искореню, ежели не дадут. Так и скажи.

Из угловой закутки Федотова двора по всей улице разносится громкое вытье закабаленной Козлихи.

– Поори, поори у меня еще, принцесса. Я те тогда не так еще уши-то оболтаю! – орет на

том же дворе басистая Федотова старуха. – Теперь наших рук не минешь. Сто на ассигнации мужу-то стоила ты.

– Известно, не мину твоих рук, – плачет Козлиха. – От них теперича и в гроб должна лечь.

Только и было во всем селе человеческих голосов в эту дивную пору ночи. За ее восторгающие красоты хвалили господа одни голоса животных и птиц, а люди все без исключения были глухи и слепы к чарам полночного мира.

Грозный, как эта грозно царящая ночь, грянет некогда суд на людей и обстоятельства, которые заслепили столько глаз, не видящих чужого несчастья, которые притупили столько душ, не благоговеющих теперь перед светлым лицом природы, перед этим вечным храмом истинного бога живого.

1862

Примечания

Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 1, М., 1874, с. 33—52. Впервые опубликовано в журнале «Зритель», 1862, No 44, под заглавием «Мирской суд».

[^^^]

«Дар Валдая» – образ из стихотворения Ф. Н. Глинки «Тройка» (1825): «И колокольчик, дар Валдая, гудет уныло под дугой». (В г. Валдае был колокольный завод.)

[^^^]